

Б. Ф. ШЛЁЦЕР

Киркегард и Шестов

Русский читатель получил наконец возможность познакомиться в оригинальном тексте с последним произведением Л. И. Шестова «Киркегард и экзистенциальная философия»*, французский перевод которого вышел еще при жизни автора приблизительно два года тому назад. А за «Киркегардом» последует в скором времени и русское издание книги «Афины и Иерусалим», по частям появлявшейся уже давно в «Revue Philosophique» и в других французских журналах.

«Киркегард» занимает совершенно особое место в творчестве Шестова, чрезвычайно им дорожившего и придававшего ему исключительное значение. И волею судьбы сочинение это оказалось как бы завещанием мыслителя, заключительным словом его многолетней философской деятельности. Оно отличается от остальных произведений Шестова и по форме своей, и по тону. Форма эта необычайно цельна: цельностью, именно внутренней цельностью, обладают, несомненно, все писания Шестова, и те даже из них, которые как будто распадаются на отдельные статьи и афоризмы: «На весах Иова» или «Афины и Иерусалим», ибо хотя и разрозненные на первый взгляд, статьи эти и афоризмы всегда объединены единством темы, содержания. Но в «Киркегарде» внутреннее единство нашло выражение свое и вовне, в самом построении, в компактной монолитной форме.

Книга состоит из ряда глав — «Иов и Гегель», «Жало во плоти», «Отстранение этического», «Великий соблазн» и прочее: однако последовательность их отражает лишь последовательность различных позиций, с которых философ ведет упорную атаку на одну и ту же основную проблему, или точнее говоря, на целый узел туго сплетенных между собой проблем. Здесь нет вовсе того, что зовется обычно «развитием мысли», когда автор, установив те или иные положения, делает из них, шаг за шагом, соответствующие выводы и на основании последних возводит постепенно новые «истины», не теряя из вида всего предшествующего пути. В каждом из глав шестовского «Киркегарда» мы опять сталкиваемся с теми же страшными, навязчивыми вопросами: меняется непрестанно лишь угол зрения, перспектива, освещение, благодаря чему открываются неизведанные еще трудности, а вместе с тем и неожиданные пути. Перед «стеной», выражаясь словами Достоевского, Шестов не «пасует»; он словно ищет слабое место, трещину в осаждаемой им грозной

* Шестов Л. Киркегард и экзистенциальная философия (Глас вопиющего в пустыне). Париж: Дом книги, Современные Записки. 1939. С. 197.

твердыне, охватывает ее то с одной стороны, то с другой, и вновь и вновь бросается на приступ.

Никогда еще нагляднее не выступали наиболее, быть может, характерная черты шестовского мышления, которое прежде всего есть борьба. Начиная с первой же своей книги — «Шекспир и его критик Брандес», Шестов всегда шел на врага и вступал с ним в жестокий бой, не на жизнь, а на смерть. Враг этот, само собою разумеется, был не тот или иной писатель, не человек, а некий строй мыслей, некоторые умственные навыки, идеи и методы, которые Шестов прежде всего находил в самом себе. Не на Гуссерля, конечно, он ополчался и не на Толстого, а на то, что в нем же отвечало «строгой науке» Гуссерля или морали Толстого. Однако в этой беспощадной борьбе он часто действовал, так сказать, тихой сапой, поражал противника неожиданной хитростью, обходными маневрами, сбивал его с позиции тонкой иронией, сохраняя притом внешнее спокойствием. И читатель, обманутый этим спокойствием, очарованный мастерством писателя, остроумием полемиста, порою вовсе не отдавал себе отчета, чем он рисковал, послушно следуя за автором, в какие опасные дебри заводил его Шестов.

Но с первых же страниц «Киркегарда» все такого рода недоразумения рассеиваются: всякий и при беглом даже чтении поймет, что именно здесь поставлено на карту: от своеобразной шестовской иронии, многими почитавшейся за скептицизм, чуть ли не за нигилизм, не осталось почти и следа в «Киркегарде»; внешняя сдержанность уступает место лихорадочной тревоге, голос повышается, переходит на крик; тон, страстный до жути, до боли напряженный, мгновениями достигает подлинно пророческого пафоса.

«Автор, вероятно, очень молод?» — спросил меня один француз, пораженный смелостью и пламенностью этих страниц незнакомого ему до того писателя. И действительно, я сказал бы, что «Киркегард» наиболее «юное» произведение Шестова; в нем нет ничего от той старческой «седовласой мудрости», над которой некогда посмеивался сам философ: нет и признака той «терпимости», которая обычно развивается в нас с годами и является большей частью признаком усталости, равнодушия. Словно огромный жизненный опыт не «научил» Шестова, т. е. не заставил его смириться и примириться с данным, а напротив, подстегнул еще сильнее в нем дух протеста и борьбы. Никогда еще Шестов не высказывался с такой дерзостью, не предъявлял столь решительно своих требований, не противопоставлял столь откровенно своих надежд своему же смятению и отчаянию.

И еще одно отметить нужно: в «Киркегарде» Шестов впервые как бы поворачивается лицом к читателю или, лучше сказать, к слушателю: большинство произведений Шестова являются, в сущности, внутренними монологами, интимными дневниками; они

нужны были, прежде всего и главным образом, самому Шестову, и читая их, трудно порою отделаться поэтом от впечатления, что философ написал бы эти книги, будь он даже совершенно одинок, на необитаемом острове. Но в «Киркегарде», хотя и снабженном подзаголовком «Глас вопиющего в пустыне» (ибо автор все же не уверен, что будет услышан), Шестов непосредственно обращается ко всем нам. Книга ли это в прямом смысле слова? Нет, не книга; скорее нетерпеливая запись стремительной, огненной речи, я чуть не сказал проповеди, но призывающая не к добродетельной покорности, а к восстанию. Этим именно и объясняются, кажется мне, удивившие многих и отмеченные, между прочим, уже Бердяевым, частые повторения отдельных выражений, рассуждений, аргументов и даже обширных цитат.

При переводе на французский язык я позволил себе возразить против некоторых из них; Шестов упорно, однако, стоял на своем. И только позднее, когда перевод был закончен, я понял, насколько этот прием ненужный, вредный даже в философских произведениях обычного типа, где он задерживает «развитие мысли», но вполне допустимый в беседе, в речи, насколько прием этот естественно вытекает из самого замысла «Киркегарда», насколько он необходим был Шестову, перед взором которого во время работы стоял именно не читатель, а слушатель. К нему он обращался с живым словом, с ним спорил, пытаясь всеми средствами пробудить его, вселить в нем тревогу, ужас; из них же родятся, быть может, воля к спасению и бунт. Не потому ли, что Шестов искал в нем сочувствия, поддержки, подтверждения того, что его, шестовская проблема, действительно, существует, что его, шестовская борьба, не есть, бред, фантазмагория?

«Ну вот, положим, вы меня убедили, я признаю, что вы правы. А дальше что?» — спросил однажды некто Шестова. «А дальше что? — ответил Шестов. — А дальше убедите вы меня». В этом ответе весь трагизм шестовской философской позиции, отчетливо им же осознанный и отнюдь им не скрываемый. Этот ответ удивит лишь тех наивных читателей (увы, их немало), которые воображают, будто Шестов не отдавал себе отчета, что то, к чему он всем существом своим рвался, и что пытался хоть приблизительно очертить понятными словами, совершенно невысказуемо в категориях разума. В своей статье «Памяти Шестова» (в «Современных записках») о. С. Булгаков вполне ясно доказывает, к каким нелепостям приводит шестовское допущение: всемогуществу Бога доступно по нашей вере делать однажды бывшее небывшим. Но что допущение это — невозможность, чистейший абсурд, Шестов знал, конечно, не хуже всех нас, ибо чем-чем, а разумом, способностью логического мышления природа, конечно, его не обидела. И он, вероятно, сказал бы о. Булгакову то, что он отвечал в таких случаях, улыбаясь, тем, кто противопоставлял

ему подобные аргументы: «Таблицу умножения я выучил еще в детстве». Весь вопрос ведь к этому и сводится: невозможное, внутренне противоречивое по законам разума ставит ли пределы бытию? Знал также Шестов, что и самый вопрос этот для разума нелеп, и что разум (т. е. каждый из нас, насколько мы умеем логически рассуждать) ответит на него лишь словами Аристотеля — такое можно сказать, такое нельзя мыслить.

Но потому-то Шестов и отказывался идти к разуму за ответами, отказывался признать за разумом право определять пределы возможного и последнее упование возлагать на то, что называли вторым измерением мышления, на веру, на ту веру, о которой Киркегард говорит: «Если я от всего отрекаюсь, это еще не вера, это только покорность. Это движение я делаю собственными силами... Но веруя, я ни от чего не отрекаюсь. Наоборот, через веру я все приобретаю: если у кого есть вера с горчичное зерно, тот может сдвигать горы. Нужно чисто человеческое мужество, чтобы отречься от конечного ради вечного. Но нужно парадоксальное и смиренное мужество, чтобы в силу Абсурда владеть всем конечным. Это и есть мужество веры. Вера не отняла у Авраама его Исаака. Через веру он его получил». Сам Киркегард, однако, признавался, что он не в силах совершить «движение веры». Что же касается Шестова, то повторю лишь слова его, которые мне пришлось уже привести однажды по аналогичному поводу: «Если я не верю, то знаю, что именно худшее во мне не верит». Наиболее опасным противником Шестова был, несомненно, сам Шестов; упорный и требовательный рационалист сидел в нем, и по собственному тяжкому опыту он знал, что, как говорил Киркегард, «верить против разума есть мученичество».

Муки эти, борения, сомнения и, вопреки всем сомнениям, устремления и надежды воплотились с исключительной даже для Шестова остротой в его последнем произведении. В этой обширной и трепетной речи, где он словно ищет: не откликнется ли кто из нас на его зов; не согласится ли кто разделить его невыносимое бремя; не признает ли, по крайней мере, что предпринятое им на собственный страх, невозможное, немислимое даже по человеческим понятиям дело, все же дело необходимое и в каком-то ином плане все же осуществимое.

Не за этим ли самым Шестов и пошел к Киркегарду, как до этого он обращался к Ницше, к Достоевскому, к Паскалю и к Библии? Бессмысленно потому спрашивать: правильно ли понял он Киркегарда, верно ли он изложил его «учение»? Экзистенциальную философию нельзя «излагать», изложенная она умирает, она существует лишь в той мере, в какой она реализуется, проводится в жизнь, становится жизнью. Сам Киркегард заранее восставал на «доцентов, объективно излагающих учение пророков, извлекающих выгоду из страданий лучших людей... Сами же (все при помощи прославленной объектив-

ности) они держатся вне и как можно дальше от всего, что хоть сколько-нибудь напоминает о возможности разделить страдание с этими лучшими». Шестов же шел всегда именно с тем, чьи страдания он хотел и мог разделить, и страницы, посвященные им Киркегарду, глубоко и откровенно субъективны, как все то, что он писал о Ницше, о Достоевском, ибо для него дело шло, конечно, не о познании некоторой системы мыслей, а о спасении, об освобождении человека, о «вечном блаженстве». Люди же, замечает Киркегард, «стали слишком объективными, чтобы обрести вечное блаженство: вечное блаженство состоит в страстной, бесконечной заинтересованности».

С «Киркегардом» Шестова чрезвычайно поучительно сопоставить, с этой точки зрения, вышедшие несколько месяцев спустя «Киркегардовские этюды» французского философа Валя¹, плод многолетнего тщательного изучения произведений датского мыслителя, а также обширной о нем литературы. Книга Валя, соединяющего с тонким аналитическим умом редкий дар изложения, — несомненно, первоклассная историко-философская работа. Но Валь не разделяет страданий Киркегарда: он лично не «заинтересован» в его мучительных поисках, или, по крайней мере, все делает для того, чтобы остаться вполне объективным, считая, очевидно, что такая научная позиция является лучшей, единственной гарантией истины, т. е. правильного понимания Киркегарда, его места и роли в истории человеческой мысли. В сущности, Валь изучает Киркегарда подобно тому, как энтомолог изучает редкий экземпляр бабочки.

В такой перспективе исчезает, не может не исчезнуть, то самое, что лично заинтересованному в киркегардовском деле Шестову представляется наиболее существенным, единственно важным, то, чем Киркегард ему дорог, необходим. Поэтому, хотя Валь обильно цитирует Киркегарда, но он или вовсе опускает или оставляет почти без внимания как раз те высказывания датского философа, в которых и заключается, по Шестову, весь смысл, вся ценность киркегардовской экзистенциальной философии, ибо они не для теории, не для знаний, а для жизни. Таковы слова, вновь и вновь повторяемые Шестовым: «Бог — значит все возможно»; ибо если все во власти Бога, не только мир материальный, но и мир идеальный, вечные истины, законы разума, то человек спасен, — и для человека, «в силу веры», все возможно.